

цілим народом. Перед Україною стоїть важливе завдання створити нову українську націю...” (Цит. по [8, с. 215])

Отже, слід розглядати механізм стереотипізації та ланку культурних стереотипів як самовдосконалюючийся механізм у якому знаходиться місце як новому, так і традиційному. Залишається відкритим питання запозичень з інших культур та їх трансформація та вплив на світогляд сучасного українця. Раніше вважалося, що запозичення відбуваються у зонах біля кордонів (як етнічно - історичних, так і державних) та у колі діаспор. В час швидкісних технологічних засобів комунікації та широкого доступу до свідомості реципієнтів, мобільності громадян цей процес значно ускладнився. Все вищенаведене доказує, що питання дослідження стану світогляду сучасних українців залишається важливою та інформативною ланкою на тлі інших досліджень у царині філософської антропології.

Список літератури: 1.Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах. – М.: Высшая школа, 2004. – 207 с. 2.Везибицкая А. «Грусть» и «Гнев» в русском языке: не универсальность так называемых «Базовых человеческих эмоций» // Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики: Пер. с англ. – М., 2001. – С. 10 – 43. 3.Лисяк-Рудницький І. Виродження та відродження інтелігенції // Історичні есе: В 2-х т.: Пер. з англ. – Т.2. – К., 1994. – С.361-380. 4.Мала енциклопедія етнодержавознавства: Під ред. Ю.І.Римаренко та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с. 5.Маркузе Г. Ерос и цивилизация: Пер с англ. – М.: ООО «Изд-во АСТ»; ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 312 с. 6.Ортега-и-Гассет Х. Бесхребетная Испания: Пер. с исп. – М.: ООО «Изд-во АСТ»; ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 269 с. 7.Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс: Пер. с исп. – М.: ООО «Изд-во АСТ»; ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 269 с. 8.Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. – К.: Критика, 2000. – 304 с. 9.Философия и будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса. – М.: «Современные тетради», 2005. – Т.4. – 774 с.

Подано до редколегії 1.08.05

УДК 130.2: 165.191

О.Н. ГОРОДЫСКАЯ, канд. филос. наук

ЧЕЛОВЕК-ЗВЕРЬ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ СПОСОБ БЫТИЯ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Статья посвящена проблеме особых граничных состояний сознания в европейской культуре. Зокрема зроблено спробу усвідомити значення для культури такого універсального явища, як людина-звір. Особливої уваги було приділено спорідненості феномена людина-звір й поняття божевілья у європейській культурі.

Статья посвящена проблеме особых пограничных состояний сознания в европейской культуре. В частности сделана попытка осознать значение для культуры такого универсального явления, как человек-зверь. Особое внимание уделено родству феномена человек-зверь и понятия безумия в европейской культуре.

The article is dedicated to the borderline states of consciousness in the European culture. In particular

the attempt to realize the meaning of such universal phenomenon as the wild animal-person for the culture was made. Special attention was given to the relationship between the wild animal-person phenomenon and the madness notion in the European culture.

Настоящее исследование посвящено, собственно, проблеме границы, одной из фундаментальных для культуры и человека. Однако, граница – понятие в культуре крайне размытое, многоликое, и настоящая статья призвана обозначить один из наиболее ярких, рельефных аспектов этой границы, зафиксированный в истории культуры как человек-зверь.

Особую актуальность настоящая проблематика приобретает в период размывания культурной границы, когда исчезает или значительно истончается та черта, пересечение, нарушение которой собственно и образует культурные формы. В первую очередь, речь идёт о современной западной культурной ситуации, а с другой стороны, значительный интерес вызывает изучение культуры традиционной, её способности сохранять себя тогда, когда границы едва намечены. В широком значении статья посвящена фигуре трикстера, однако, данная проблема – предмет отдельного обширного исследования, и в настоящей работе будет затронут лишь один её аспект – человек-зверь.

Фигура трикстера в аспекте "человек-зверь" практически не попадала в поле исследования философии, истории культуры и культурологии. Безусловно, в ряде исследований изучались отдельные образы человека-зверя в традиционных западноевропейских культурах, однако на настоящий момент автору не известно ни одной работы, которая в полной мере осветила бы данную проблему или, по крайней мере, вывела бы в философское проблемное поле наиболее важные ее аспекты. Следует сказать о работе Михайловой Т.А. [11], чьё блестящее исследование посвящено отдельному немаловажному вопросу данной проблематики, а также об очень интересной статье Чернявской Ю.В. [17], которая в большей степени касается фигуры трикстера в целом, но поднимает и ряд интересных вопросов о человеке-звере.

История человека-зверя - это история человечества, и если мы хотим понять, что такое человек, нам не обойтись без этого его двойника, без человека-зверя. "На южном склоне Бен-Балбена, в нескольких сотнях метров над равниной, есть небольшая квадратная плита из белого известняка... Это дверь в страну фэйри. Ровно в полночь она распаивается, и кавалькада подземных всадников рвется бешено вон. Всю ночь носится по стране развеселая эта охота..." [5, с. 58].

"Дикая охота", призраки, пришедшие с той стороны, дикие, бешеные всадники смерти, ловцы человеческих душ – извечная боль и непрерывная связь, непереносимое условие существования человечества. У каждого народа есть свои великие охотники, которые обеспечивали, ни много, ни мало, жизненное равновесие.

На Крите издавна существовал кровавый культ (переходивший в

мистерию) Загрея, хтонического демона охоты, ловца душ. Само его имя означает "Великий Ловчий", "Великий охотник" [9, с. 143]. Впоследствии Загрей стал тождествен Дионису, такому же охотнику и богу душ. Орфики и неоплатоники трактовали Диониса-Загрея как наиболее конкретное и наиболее совершенное явление божества в мире [9, с. 144], поэтому представляется не случайным, что сугубо хтонический Загрей (сын Персефоны (Деметры) и Зевса, принявшего облик змея) в единстве с Дионисом становится богом последней космической эпохи. Змеи – "наиболее" хтонические твари, олицетворявшие мощь земли. Рогатость Загрея только подтверждает его теснейшую связь с самыми глубинами – не только земли, но и человеческого сознания.

Прямая аналогия "охотник – ловец душ" сразу бросается в глаза и, таким образом, приоткрывает связь человека и зверя. Эта связь всегда была особой, а греческая мифология только подчеркивает, насколько она была глубока. Оргиастическая религия Диониса, потрясая Грецию в VII веке до н. э., объединяла все сословия – аристократический Олимп оказался как никогда далеким. Общий экстаз и экзальтация поклонников Диониса уничтожали непроходимую пропасть между богами и людьми. "В пении и пляске являет себя человек сочленом более высокой общины: он разучился ходить и говорить и готов в пляске взлететь в воздушные выси. Его телодвижениями говорит колдовство. Как звери получили теперь дар слова и земля истекает молоком и медом, так и в человеке звучит нечто сверхприродное: он чувствует себя богом..." [12, с. 62].

В культе Диониса нет грани между человеком и богом, между человеком и зверем – это единое всемогущее существо, в котором звериное начало отчасти поглощало человеческое и в котором не оставалось ни разума, ни рассудка, а лишь исступление. Что же касается "быкорожденности" Диониса-Загрея, то здесь нет ничего удивительного: Крит был страной классического культа животных, особенно быка. Именно здесь появляется и "ошибка природы", существо, олицетворяющее собою безумие.

В наказание за непослушание Посейдон одаривает царя Миноса сыном – кровожадным Минотавром, получеловеком-полубыком. Несчастливая жертва царских и божеских амбиций, Минотавр мог только пожирать людей и ждать своего избавления – смерти. Учитывая характер мифологического мышления, можно утверждать, что в образе Минотавра скрестились и отождествились небо, море, наземный и подземный миры [9, с. 210], то есть собственно весь космос, без деления на людей и животных. И все же здесь есть один нюанс. В Минотавре сконцентрирован не просто страх человеческого. Жилище Минотавра – лабиринт, а попросту бесконечно запутанное, хаотическое, стихийное, гибельное само(о)сознание, в котором человек заблудился. Минотавр и есть безумие, которое бродит по темным коридорам в надежде на выход, который невозможно найти. Порою он находит себе пищу –

человека, который, встретив чудовище, "плотью живою в живую могилу уходит", безвозвратно растворяясь в безумии. Совершенно очевидно, что здесь происходит слияние не только с единым божеством Дионисом, не только со зверем в Минотавре, но и с бесконечностью хаосмоса, со всеми теми силами, которые навсегда проросли в человеке.

Можно утверждать, что и впоследствии человек-зверь оставался неистовым, иступленным, пугающим, даже если оказывался необходимым. Такими важными для древнего человечества были небольшие группы воинов-зверей, презренных, но жизненно необходимых, которые обеспечивали порядок в конкретной гражданско-религиозной системе, которая, в свою очередь, была отражением высшего, космического порядка. Причем такие группы сохраняли свою значимость невероятно длительное время, и даже пришедшие в Европу германцы (самые молодые из варварских племен) принесли с собой подобный институт.

Для таких воинов зверь – наставник, которого, даже убив, нельзя уничтожить: "победа" человека над зверем трансформируется в обряд передачи мощи, в результате чего зверь не умирает, а воплощается в своем убийце. В бою они – настоящие звери: либо через процедуру экстатического типа (пляска, опьяняющие вещества, наркотики), либо через внешнее уподобление какому-нибудь зверю (повадки, шкуры и т.п.) – эти войны вселяли страх, парализовали противника, оставаясь неутомимыми и неуязвимыми [6, с. 112-113]. Это неистовство – божественно, ибо сам одержимый – слуга бога. Имя верховного божества германцев Одина означает "бешеный". Такой одержимый утрачивал человеческий облик; это был теперь одновременно "и бог, и лютый зверь" [6, с. 111]. Неправда ли, знакомый мотив? Из глубин лабиринта сразу появляется шумная и внушающая страх обывателям свита Диониса, экстатическое буйство которой рушило все видимые границы.

В германской традиции среди воинов-зверей сразу выделяются берсерки и ульфедины, воины-медведи и воины-волки соответственно. Они, безусловно, родственники, звери с человеческими лицами. Сочетая свирепость и бесстыдство, действуя небольшими группами, а то и по одному, они внушали понятные опасения всей общине.

Но с приходом христианства отношение к воину-зверю меняется: он теперь только жертва бесовских сил, больной, страдающий приступами бешенства. По ночам природа его берет верх над разумом: так берсерк окончательно становится изгоем, оборотнем. Ведь звериная природа – это нечто, находящееся вне человеческой власти, но именно здесь проявляются воистину нерушимые законы мироздания. Оборотничество – своего рода чудо, в котором "эмпирическая жизнь личности совпала с одной из сторон идеального состояния личности, а именно с ее вседеприсутствием и бесконечным разнообразием" [10, с. 156]. И в этом чуде будто бы что-то вспоминается, возрождается память веков и обнажается прошлое.

Несмотря на всю видимую чудесность, берсерки, а позже и оборотни, остались членами "стаи", которая находилась за гранью, на обочине общинной жизни: сначала воин-охотник, потом полу зверь, а потом и сам волк, изгнанник. С XI века в скандинавских источниках термины "берсерк" и "викинг" (изгой) приобретают сугубо негативный смысл [6, с. 122]. Еще в середине XX века в Ирландии существовало поверие, что крестными лесных разбойников становятся волки, а правая рука остается и вовсе не крещеной [5, с. 168].

Ирландия стоит немного особняком в проблеме изучения человека-зверя. Эта культура вообще, кажется, не смогла преодолеть полностью состояния пограничности, и поэтому человек-зверь всегда занимал здесь особое место, а связь их с безумием была слишком очевидной. Ярким примером человека-зверя здесь может служить король Суибне, чья драматическая судьба стала предметом одной из лучших работ в изучении пограничных состояний в культуре [11].

Интересно, что в языческой германской мифологии местопребыванием для воинов, погибших с оружием в руках, является вечный пир Одина в небесной Валгалле. Этот бог неба, естественно, является упорядочивающей силой. Однако в этой же традиции культурный герой необходимо имеет своего трикстера, асоциальное поведение которого только и может убедить в прочности той реальности, устройством которой занят первый номер. Несмотря на заданную полярность обоих персонажей, Один и Локи – кровные братья, а это высшее братство навечно связало и потенциальных противников: уранических асов и хтонических ванов [6, с. 134]. Оба брата ведут себя как типичные побратимы (хотя Локи и был изгнан из Валгаллы за свои шалости): побратимство предполагает взаимопроникновение двух судеб, помощь друг другу как в этой, так и в загробной жизни. Здесь опять проявляется тесная связь двух миров, а посредниками оказываются люди, принимающие облик зверей. Ради общего дела в сражение мертвые идут бок о бок с живыми. Причем клятвопреступление не снимало этих уз, и нарушители не могли обрести покоя даже в могиле, пока не искупали своей вины: «"Мертвые следуют за нами... Я вижу силуэты людей на конях, бледные стяги, как клочья тумана, и лес призрачных копий..." Хотя над холмами нависла тягостная тишина, все были уверены, что вокруг собралось огромное незримое воинство... Арагорн спешился и вскричал: "Клятвопреступники! Зачем вы пришли?" – И в ночи послышался одинокий глухой голос, ответивший словно издалека: "Исполнить клятву и обрести покой..." Отряд ушел во тьму Мордора и скрылся из глаз смертных. Войско Короля Мертвых последовало за ним» [14, с. 54-57].

И все же постепенно человек-зверь, побратим зверя и бога, растворяется в новом пространстве – христианском. Нельзя сказать, что он исчезает – скорее, преображается. Лес и его обитатели, то есть ближайшие соседи человека, превращаются в символы человеческих ценностей

(преимущественно морального свойства), и именно эта метаморфоза приводит – и очень скоро – к фактическому отождествлению зверя и человека – на этот раз безумца. Из вынужденного за-бытия зверь вырывается на свободу, обнажая мрачную ярость и бесплодное безумие, которые царят в человеческом сердце. Зверь, преследующий человека в кошмарных снах – это его собственное естество, "вздорный образ, сквозь который проступает последний его предел" [15, с. 42]. Ощущение близости смерти и присутствие небытия в мире живых – вот основные условия чувствования на исходе Средневековья. В эти последние века, особенно после францисканского движения, баланс между человеком и зверем постепенно начал смещаться в сторону равновесия. В какой-то момент зверь вновь получает возможность проявиться. Только св. Франциск и его ближайшие сподвижники могли простым крестным знаменем укрощать волка-людоеда из окрестностей Аггобио, приручать горлиц своим благочестием или проповедовать рыбам, если люди не слушали проповедей [16, с. 115-117]. Правда, Франциск, с церковной точки зрения, ходил по краю той пропасти, которую называли ересью. Его желание вернуть отторженных от общества очень скоро приобрело ему и его сторонникам славу сумасшедших: "Смотрите, они ударились в такое покаяние, что выжили из ума!" [16, с. 96]. Тогда Франциск ушел на кладбище и обратился к воронам и сорокам, стервятникам, трупоедам, к птицам, питавшимся падалью. Это были "мерзкие птицы, отверженные птицы, подобные прокаженным" [18, с. 233]. Для святого Франциска и звери, и птицы, и люди, оттесненные на обочину жизни, одинаково вызвали сострадание, они были просто несчастными изгоями. Однако парадокс ситуации в том и состоял, что вся подобная христианская практика незаметно осуществила отождествление зверя и безумца-человека, а этическое переосмысление такого тождества окончательно сфокусировало на безумном печать Чужого.

Классическая эпоха уже выставляет безумца напоказ, – но как зверя, по другую сторону решетки; теперь "безумие являет себя лишь на расстоянии, под присмотром разума, который больше не связан с ним родственными узами и, утратив сходство с безумием, избавился от чувства собственной ущербности. Безумие превращается в вещь, вещь зримую и зрелищную: это уже не чудовище, таящееся в глубинах человеческого "Я", а непонятно устроенное животное, чисто звериное начало, в котором уничтожено все человеческое" [15, с. 158-159].

С XVII века безумец (уже как больной) снова запирается: Минотавр вернулся в лабиринт, в вечном ожидании новой жертвы. Если человеческие жертвоприношения связывались с до-человеческим пониманием человека [9, с. 210], то теперь возникает новый кровавый культ: психиатрическая клиника, пытаясь удержать безумие внутри, поглощает "душевнобольных" в качестве дани спокойствию общества. Безумие, "возвращаясь к звериному началу, обретает свою истину – и одновременно исцеление: превращение

безумца в животное стирает то проявление зверя в человеке, которое и составляло соблазн безумия; голос зверя не умолкает – просто сам человек перестает существовать" [15, с. 163].

Отождествление зверя и человека (символическое и буквальное) приводит к тому, что образы безумия, покинувшие запредельный мир Средневековья и прошедшие специфическую обработку клиникой и прогрессом, прочно обосновались в сердце, желаниях, воображении человека, "проросли странным противоречием в людских вожделениях, соединяющих желание и убийство, жестокость и жажду страданий, господство и раболепие, оскорбление и унижение" [15, с. 360]. Результатом такого отчуждения и забвения стало превращение человека в объект: здесь безумец просто больной или виновный, – хотя, как выясняется, не более чем тот, кто его наблюдает. Теперь загнанный человек-зверь блуждает в сумерках чуждого мира, обещающего все разъяснить и расставить по местам, но от этого еще более невыносимого и враждебного: "И всюду на его пути вставала стальная колея: она то ныряла, как в пропасть, в глубокие выемки, то взлетала на высокие насыпи, заграждавшие горизонт будто гигантские баррикады. Пустынная местность, изборожденная невысокими холмами, унылая и мрачная, без единого клочка возделанной земли, напоминала лабиринт, в котором, не находя выхода, металось его безумие" [4, с. 285]. Этого "нового" человека мучают новые кошмары, и "если он засыпает в лабиринте, то просыпается снаружи, когда стены разрушены" [13, с. 307]. Нынешний мир – постоянный экстаз, только теперь предполагается единение с чем-то бесконечно чуждым человеку; его окружают демоны, претендующие на человека, но не имеющие даже звериного лица – где уж тут найти человеческое: "Одноглазое чудище, и странный, никчемный глаз отливает красновато-золотым блеском; поезда, поезда, поезда, все они одержимы демоном смерти, чьи заунывные стоны наполняют душу тоскливым предчувствием... Но его поезда все нет... Конечно, поезд придет непременно... поезда мчатся прямо на него со всех сторон света, и в каждом тоскливо воет демон..." [7, с. 294]. Все перемешалось – лабиринт, железные дороги, улицы, мысли, невидимые тропки в лесах и на болотах. "Дома тут не для того, чтобы в них жить, но чтобы имелись улицы, а на них – непрекращающееся городское движение" [2, с. 42].

"Новый" человек и с ума должен сходить по-новому. Здесь нет никакой тайной подоплеки, жизненной необходимости – скорее бессилие. Безумие в человеке сделалось возможностью уничтожить и человека, и мир, "и даже сами образы, отрицающие мир и искажающие человека. Оно лежит гораздо глубже, чем греза, гораздо глубже, чем кошмар звериного начала, – оно есть последнее прибежище" [15, с. 518]. И сегодняшнее опьянение – не дионисийская экзальтация, а банальный алкоголизм: человек даже не может забыться, ибо все, что смог, он забыл, ему уже недостает памяти: "Какая страшная ночь предстоит ему неизбежно, выпьет ли он еще сколько влезет

или не выпьет ни капли, все равно стены станут сотрясаться от адской музыки, и будут обрывки кошмарных сновидений, и голоса из окон, хотя в действительности это лишь вой приبلудных псов, и несметные призрачные толпы, повторяющие его имя, и зловещие крики, звяканье, грохот, треск, и борения с разъяренными демонами, и лавина, заваливающая двери, и кинжалы, пронзающие его постель, а снаружи неумолчные вопли, стоны, дикая какофония, клавикорды тьмы" [7, с. 349].

Охотник и добыча уже давно поменялись местами, и на несчетных перекрестках дорог и улиц можно увидеть зоопарки – каждый раз все больше и больше. Нет другого убежища, кроме как в пустых клетках за решеткой: "Перевернутый мир, тигры и пантеры бродят снаружи, люди сидят под замком, зарешеченные" [13, с. 326]. Печальное зрелище, хотя кому-то так покажется безопаснее. В таком месте можно дожидаться прихода нового бога, очередной метаморфозы безумия. Но каким был бы этот новый Мессия и каким был бы результат: "Я взглянул на ребенка – невероятно, с медицинской точки зрения невероятно: это был тигр, медведь, змея и человек. Это был лось, койот, рысь и человек. Он не плакал. Он смотрел на меня и узнавал, а я узнавал его. Это было невыносимо – Человек и Сверхчеловек, Супермен и Суперзверь. Это было совершенно невероятно, а он смотрел на меня, на Отца, одного из отцов, одного из многих, многих отцов... а солнце краем своим задело больницу, и вся больница начала сотрясаться, орали младенцы, свет включался и выключался, стеклянную перегородку передо мной пересекала багровая вспышка... Три люминесцентные лампы выпали из цепей и рухнули на младенцев. Сестра стояла, держала на руках моего ребенка и улыбалась, когда на город Сан-Франциско упала первая водородная бомба" [3, с. 237]. Очищение через смешение и уничтожение. И какая в общем-то разница, как реализуются желание или жажда убийства. Самые неразумные страсти, даже бессмысленные убийства – "все это мудрость и разум, поскольку они принадлежат природе" [15, с. 519].

На этот раз человек воплотился в образе Химеры, причем без малейшей претензии на что-либо высокое и важное: Химера стала просто нечистой совестью, а сама жизнь – сплошным вымыслом. В Химере изначально не было ничего оригинального, "она не была в состоянии никому ни повредить, ни помочь; она была несообразной, а не чудовищной, и в сравнении с Медузой и Сфинксом небольшой оказалась даже ее метафорическая мощь. Вот почему... она помогла себя уничтожить: кроме смерти у нее не было никаких шансов..." [1, с. 366]. Уже тогда человеку не повезло, и он оказался на пороге между сном и явью, "где сидят, открывши глаза, Химеры и Сфинксы и где воздух всегда полон шепотков и шорохов" [5, с. 67]. Здесь, как и сотни лет до того, идет война между живыми и мертвыми, и любой фольклор полон сводками с линии фронта. Но "людям, сидящим в тюрьме, можно помочь, только одним способом: выпустить их оттуда; и только одним

способом можно помочь людям, сражающимся на войне: остановить войну" [3, с. 150]. Полковника Куртца, никогда не вернувшегося с Вьетнамской войны, мучил один и тот же кошмар: улитка, ползущая по лезвию бритвы; она никак не может погибнуть, но и покинуть лезвие невозможно. Это память пытается расчистить дорогу знанию и, вырывая его из забвения, начать вещать. Рассказ – самое лучшее изложение такого знания: повествовательная форма подчиняется определенному ритму, это вибрирующая, музыкальная особенность. Она дает пример удивительного свойства: "... по мере того, как метр одерживает верх над ударами во всех звуковых, речевых или неречевых обстоятельствах, темп перестает быть подпоркой запоминания и превращается в древнее отбивание ударов, которое за отсутствием заметной разницы между периодами не позволяет их просчитывать и заставляет забыть о них... а референция рассказов всегда современна акту «здесь и теперь»" [8, с. 59].

Наше бытие – забвение, пределов которого не охватить, но кто-то продолжает тихо беседовать с кем-то внутри тебя – и ты вслушиваешься в этот рассказ. Насколько никчемн стал человек: "Думаю, что мертв. Думаю, что призрачен. Я полон голосов, все они мои, ни один из них не я; я не могу напрямую, как привык, сказать, кто говорит. Я отнюдь не стремлюсь ни к непонятности, ни к запутанности, в надежде если не вдохновить, то уж по крайней мере развлечь. Но учти – это было видение до безумия сложного порядка: вновь и вновь четок рисунок, словно увиденная с Пегаса в высшей точке его полета путаница болотных тропинок, – видишь, как текут воды и почему, какие грузы они переносят и куда. Посередине кого-то засосало; судно же идет себе дальше, но путь его кажется случайным, даже безумным" [1, с. 179-180] – новый лабиринт, особенно неверный, ибо зиждется на болоте. Но и обитатели в таком лабиринте ему под стать. "В болотах... встречается такая улитка – возможно, я ее выдумал – которая строит свою раковину из всего, что только ни попадает ей на пути, скрепляя все воедино выделяемой ею слизью, и вместе с тем инстинктивно направляет свой путь к самым подходящим для раковины материалам; она несет свою историю у себя на спине, живет в ней, наворачивая, по мере своего роста, все новые и большие витки спирали из настоящего. Повадки этой улитки стали моими повадками – но я хожу кругами, не отклоняясь от своего собственного следа" [1, с. 25]. Это та самая улитка, увиденная во сне проклятым полковником; она – наш маленький мир, беседующий сам с собой, осваивающий и продолжающий строить новую Вавилонскую башню. Это дьявольская традиция, где наказание заключается в вечном повторении своего преступления. "Мы, как видно, на дорогах, ведущих в Ад" [13, с. 311]. Это – открытая и повторяющаяся спираль, "где вы можете застрять, застыть как соляной столп: одновременно и колодец, лабиринт, тюрьма и смерть, в которой вы можете пробыть малый или длительный срок, она одновременно и мост, и постоянный двор" [13, с. 308].

Безумие, скрытое в монотонности, постепенно освобождается из собственной тени. Парадоксально-насмешливым путем, на котором не обошлось без боли и за-бытия, безумие сменило родство с солярыными и хтоническими богозверями на сомнительную благосклонность маленького моллюска, который по-прежнему мечется по краю острого лезвия в надежде соскользнуть с него. Теперь не Минотавр стенает в темных коридорах кноссского лабиринта, а крохотная улитка суетится на абсолютно видимой тропке, оказавшейся лишь безжалостнее в своей ясности. Ее раковина – не только ее лабиринт, но и ее единственное убежище, неповторимая история, непрекращающийся рассказ.

Можно с полной уверенностью говорить об имманентном присутствии безумия в явлении человека-зверя, и каждая культура, подходя к своей границе, ощущала присутствие их обоих. Хочется надеяться, что современная культура, попав в сумерки пограничья, не окажется лицом к лицу с безумием, которое, потеряв творящую силу человека-зверя, уничтожит нас.

Список литературы: 1. *Барт Д.* Химера: Пер. с англ. – СПб.: Изд-во "Азбука", 1999. – 400 с. 2. *Бланио М.* Ожидание забвения: Пер. с фр. – СПб.: Амфора, 2000. – 175 с. 3. *Буковски Ч.* Истории обыкновенного безумия: Пер. с англ. – М.: Глагол, 1999. – 256 с. 4. *Золя Э.* Человек-зверь // Золя Э. Мечта. Человек-зверь. – Собр. соч. – Т. 13. – М., 1964. – С. 229-642. 5. *Йейтс У.Б.* Кельтские сумерки: Пер. с англ. – СПб.: Инапресс, 1998. – 224 с. 6. *Кардини Ф.* Истоки средневекового рыцарства: Пер. с итал. – М.: Прогресс, 1987. – 384 с. 7. *Лаури М.* У подножия вулкана: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1972. – 496 с. 8. *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна: Пер. с фр. – М.; СПб.: Алетейя, 1998. – 160 с. 9. *Лосев А.Ф.* Античная мифология: В ее историческом развитии. – М.: Гос. Уч.-пед. изд-во Мин. Просвещения РСФСР, 1957. – 620 с. 10. *Лосев А.Ф.* Диалектика мифа // *Лосев А.Ф.* Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. – С. 21-186. 11. *Михайлова Т.А.* Суибе-гельт зверь или демон, безумец или изгой. – М.: Аграф, 2001. – 448 с. 12. *Ницше Ф.* Рождение трагедии, или Эллинизм и пессимизм // *Ницше Ф.* Соч.: В 2 т. – М., 1996. – Т. 1. – С. 47-157. 13. *Сёпп М.* О Жюль Верне // Философия языка: в границах и вне границ. – Х., 1999. – С. 303-328. 14. *Толкин Дж. Р.Р.* Властелин колец: Пер. с англ. – СПб.: "Северо-Запад", 1992. – Кн. 3. 15. *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху: Пер. с фр. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 576 с. 16. Цветочки славного мессера святого Франциска и его братьев. – СПб.: Журнал "Нева"; Издательско-торговый дом "Летний сад", 2000. – 480 с. 17. *Чернявская Ю.В.* Трикстер, или Путешествие в Хаос // Человек. – 2004. - № 3. - С. 37-52. 18. *Эко У.* Имя розы: Пер. с итал. – СПб.: Симпозиум, 1998. – 685 с.

Поступила в редколлегию 29. 06. 05